

М.ГОРЬКИЙ

ДЕТСТВО

Инсценировка Николая Коляды

Город Екатеринбург

2019 год

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

БАБУШКА

АЛЁША

Я лежу на широкой кровати, вчетверо укутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз. Зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные - во льду - стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно ковкая, темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Бабушка всегда подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит. Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему:

БАБУШКА. Ты, Господи, сам знаешь, - всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет - неведомо. А отец, - он Якова больше любит. Али хорошо - неровно-то детей любить? Упряма старик, - ты бы, Господи, вразумил его, а? Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить! И вспомяни, господи, Григорья, - глаза-то у него всё хуже. Слепнет, - по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

Что еще? Спаси, помилуй всех православных. Меня, дуру окаянную, прости, - ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму. Всё ты, родимый, знаешь, всё тебе, батюшка, ведомо.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь? Не спишь, мол, голуба́ душа? Ну-ко, давай одеяло! А-а, так ты над бабушкой-старухой шуточки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

АЛЁША. Расскажи про Бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя. Приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

БАБУШКА. Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господа ангелы летают во множестве, - как снег идет али пчелы роятся, - али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин, - каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!». А Господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечет его!». И так всё, про всех, и всем он воздает по делам, - кому горем, кому радостью. И так всё это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, Господи, слава тебе!». А он, милый, только улыбается им - дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

АЛЁША. Ты это видела?

БАБУШКА. Не видала, а знаю!

Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надождавшие рассказы.

Бога видеть человеку не дано, - ослепнешь. Только святые глядят на него во весь глаз. А вот

ангелов видела я. Они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы. Видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поскорости после того успел, скончался. А я тогда, как увидела их, - обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, - ох, хорошо было! Ой, Ленька, голубá душа, хорошо всё у Бога и на небе, и на земле, так хорошо...

АЛЁША. А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка отвечает:

БАБУШКА. Слава пресвятой Богородице, - всё хорошо!

АЛЁША. А мне трудно признать, что в доме всё хорошо. Нам живется всё хуже и хуже. А тётка Наталья всё говорит: «Господи, приberi меня, уведи меня...». Григорий говорит, что ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

БАБУШКА. Да слушай ты его.

АЛЁША. А я хочу, чтобы он поскорее ослеп. Я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я ему сказал, а он говорит: «Вот и ладно, и пойдём! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери сын! Занятно будет...».

БАБУШКА. Ой, дурни ...

АЛЁША. А у тетки Натальи синие опухоли и на желтом лице вспухшие губы. Дядя бьет ее?

БАБУШКА. Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она - кисель...

Молчание.

Все-таки теперь уж не бьют так, как раньше бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то - часами били! Меня дедушка одна бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет - устанет, а отдохнув - опять. И вожжами, и кулаками, и ногами, и - всяко.

АЛЁША. За что?

БАБУШКА. Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, - еле выжила тогда. А то еще...

АЛЁША. Баба, ты вдвое крупнее деда. Как он мог тебя одолеть? Разве он сильнее тебя?

БАБУШКА. Не сильнее, а старше! Кроме того, - муж! За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть...

Бабушка встает, принимается оттирать пыль с икон.

Ой, иконы у нас какие богатые. В жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам. Эко милое личико!.. (*Перекрестилась, поцеловала икону*). Запылилася, окоптела, - ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голубá душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это «Двенадцать праздников», в середине же божия мать Феодоровская, предобрая. А это вот икона называется – «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе» ...

АЛЁША. А ты чертей видела?

БАБУШКА. Ой, Олеша! Так я часто, Олеша, видела чертей. И во множестве, и в одиночку.

АЛЁША. Правда? Чертей?

БАБУШКА. Нет, вру. Чертей! Слушай. Иду как-то великим постом, ночью, мимо

Рудольфова дома. Иду. Ночь лунная, молочная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает. Большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его и говорю: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его!», - говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, - расточился! Должно, скоромное варили Рудольфовы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Алёша смеется.

Смеешься? Видал ли ты, как черти кувырком летят с крыши? Ну, то-то. Ой, Олеша! Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи. Вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я - к двери, - нет ходу. И увязла среди бесов! Всю баню забили они, повернуться нельзя! Под ноги лезут, дергают, сжали так, что и октиться не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все. Да! И кружатся, озоруют, зубёнки мышинные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросычьи, - ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь я! А как воротилась в себя, - свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах, вы, думаю, раздуй вас горой!

АЛЁША. Прямо вот эти мохнатые пестрые твари высовывали озорниковато розовые язычки?

БАБУШКА. Высовывали.

АЛЁША. И свечу задули?

БАБУШКА. Задули! А то, проклятых, еще раз видела я. Это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду. Только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими! На облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти! Свистят, кричат, колпаками машут, - да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные. И все кони вороной масти, и все они - люди, проклятые отцами-матерями. Такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, Олеша, свадьбу бесовскую видела ...

Бабушка молчит.

Я тебе еще стихи расскажу о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгальчеву не бить, не грабить русских людей. Еще - стихи про Алексея божия человека, да про Ивана-воина. Потом сказки расскажу о премудрой Василисе, о Попе-Козле и божьем крестнике. Сказки страшные о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника. Не боишься?

АЛЁША. Нет.

БАБУШКА. Сказок, былей и стихов я знаю много ...

АЛЁША. Почему ты боишься черных тараканов?

БАБУШКА. Я их даже издаля чувствую. Вот, ползет, ползет! Олеша, милый, таракан лезет, задави Христа ради!

Алеша ползает по полу.

АЛЁША. Нет нигде.

БАБУШКА. Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю... Убил? Ну, слава Богу! А тебе спасибо... Ой, еще ползет ... Около порога он... под сундук пополз...

АЛЁША. Отчего ты так боишься тараканов?

БАБУШКА. А непонятно мне - на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость, а клоп - значит, стены грязные, а вошь нападает - нездоров будет человек, - всё понятно! А эти, - кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются? И не смейся!

АЛЁША. Ты - колдунья?

БАБУШКА. Ну, вот еще выдумал! Где уж мне: колдовство - наука трудная. Я вот и грамоты не знаю - ни аза. Дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила Богородица. Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла. Да. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам не надобна, и дали они ей вольную, - живи-де, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям. А в те поры люди-то богаче жили, добрее были, - славные балахонские плотники да кружевницы, - всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обьмет, - так мы подалее, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке.

АЛЁША. А хорошо там?

БАБУШКА. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная. А еще пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, - голосок у ней не силен был, а звонок - и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. *(Бабушка запела).*

*На улице дождь, дождь
Землю поливает.
Землю поливает,
Брат сестру качает.
Ой, люшеньки-люли
Брат сестру качает.
Брат сестру качает,
Еще величает.
Ой, люшеньки-люли
Еще величает ...*

Бабушка молчит.

А хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, заторно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне. Ну, и кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках - по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то. Вот, бывало, не удается чего, - слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам: «Ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки!». А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит, смирной буду, н-ну...

Бабушка молчит.

А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит. Он их видит, а бесы - любят.

И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают Алешу, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

АЛЁША. Давай чай пить?

БАБУШКА. Давай. Что мне сахару не даешь?

АЛЁША. С медом пей, это тебе лучше!

БАБУШКА. Куда столько? Ты гляди, не помереть бы мне!

АЛЁША. Не бойся, догляжу.

БАБУШКА. То-то! Теперь помереть - это будет как бы вовсе и не жил, - всё прахом пойдет!

АЛЁША. А ты не говори, вон - лежи немо!

БАБУШКА. Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи. За садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Видишь фигуру? Это - аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это - что?

АЛЁША. Буки.

БАБУШКА. Попал! Это?

АЛЁША. Веди.

БАБУШКА. Врешь, аз! Гляди: Глаголь, Добро, Есть ... А это что?

АЛЁША. Добро.

БАБУШКА. Попал! Это?

АЛЁША. Глаголь.

БАБУШКА. Верно! А это?

АЛЁША. Аз.

БАБУШКА. Валяй, Олеша! Это - Земля! Тут - Люди!

АЛЁША. «Земля» походит на червяка, «Глаголь» - на сутулого Григория, «Я» - на тебя, баба, а в деде что-то есть общее со всеми буквами азбуки.

БАБУШКА. Ишь, какой! А неверно говорила Наталья, что памяти у тебя нету. Память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос! Ну, будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

АЛЁША. Целый пятак?

БАБУШКА. Ох, Олеша ... Бросила тебя мать-то поперх земли, брат... Не сказала бы - горе нудит... Эх, какая девка заплуталась... Побасенки ты любишь, а Псалтырь не любишь...

Молчание.

Ну, слушай. Расскажу еще. Однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева. И тут дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов. Дед ó ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помнит. Помнить себя он начал от француза, в двенадцатом году, ему как раз двенадцать лет минуло. Он мне рассказывал. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников. Всё народ сухонькой, мелкой. Одеты, кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал, гарнизонные вступились, - разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все. Французы эти - народ ловкой, догадливый. Довольно даже веселые, - песни,

бывало, поют. Из Нижнего Новгорода баре приезжали на тройках глядеть пленных. Приедут, и одни ругают, кулаками французам грозят, бывали даже, другие - разговаривают мило на ихнем языке разговаривают, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал. «Вконец, - говорит, - погубил француза злодей Бонапарт!». Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

АЛЁША. А какие они, французы?

БАБУШКА. А такие. Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко, к матери дедовой, - она калачи пекла да продавала, - стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий - прямо к телу, к сердцу. Ой, уж как они терпели это - нельзя понять! Многие поумирали от холода, они - люди теплой стороны, мороз им непривычен. А в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном. Офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница. Мать дедова тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Выучился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он - черный, злой! Плохо говорил, а понять можно, и верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то по Волге теплой земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыре про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова - в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.

АЛЁША. Рассказывай.

БАБУШКА. Ну, вот, французы, значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то дедовой, этой заразе, теще моей, кричат: мадама, мадама, а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Какая мадама? Силища была у нее не женская, до двадцати годов дедушку вон - за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов дедушка и сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг. А после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел так чудесно лечить их. После здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер тот к весне чахнуть начал и в день Николы вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном, да так и скончался, высунув голову на волю. Я даже поплакала тихонько о нем. Я уж тогда в их доме жила, как молодая жена. Нежным он был, возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать дедова запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Запомни! Ты это запомни!

АЛЁША. А кто лучше: французы или русские?

БАБУШКА. Ну, как это знать? Я ведь не видала, каково французы у себя дома живут. В своей норе и хорек хорош...

АЛЁША. А русские хорошие?

БАБУШКА. Со всячинкой. При помещиках лучше были - кованный был народ. А теперь вот все на воле, - ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено. Не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, - что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много. Взглянешь - человек, а узнаешь, - скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а

точила тоже нет настоящего...

АЛЁША. Русские сильные?

БАБУШКА. Есть силачи, да не в силе дело - в ловкости. Силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.

АЛЁША. А зачем французы нас воевали?

БАБУШКА. Ну, война - дело царское, нам это недоступно понять!

АЛЁША. Кто таков был Бонапарт?

БАБУШКА. Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили. Ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, глупость: только раков нельзя различить, а рыба - вся разная: осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали, - Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов, я те про них после скажу... Эх, Олеша ... Не удались дети-то у нас с дедом, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с дедом думали, - в лукошко кладем, а Господь-от вложил в руки нам худое решето... Ну, Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде одно и то же, - споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не мы одни ...

АЛЁША. А почему?

БАБУШКА. Потому. Спи. Кому я говорю, ложись? Неслух какой... Спи спокойно, а я к деду спущусь... Ты меня не больно жалея, голубá душа, я ведь тоже, поди-ка, и сама виновата... Спи!

Бабушка достала из-под кровати большой белый чайник, и сказала, подмигивая:

Ты, голубá душа, деду-то, домовому, не сказывай!

АЛЁША. Зачем ты пьешь?

БАБУШКА. Нишкни! Вырастешь - узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

Ну и вот, сударь ты мой, про что, бишь, я вчера тебе сказывала?

АЛЁША. Про отца.

БАБУШКА. А которое место?

АЛЁША. Ты говорила, что во сне его видела.

Бабушка помолчала.

БАБУШКА. Да. Видела я во сне отца твоего, идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Савватеич сниться мне стал, - видно, беспокойна душенька его неприятная... Он был сыном солдата, а солдат тот дослужился до офицеров и его сослали в Сибирь за то, что бил подчиненных. Вот там, где-то в Сибири, и родился твой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды отец искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его.

АЛЁША. Маленьких всегда бьют?

БАБУШКА. Всегда.

Молчание.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, и отца взял к себе крестный - столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству. Но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, и шестнадцати лет пришел в Нижний и стал

работать у подрядчика - столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе. Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие. Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идет меж яблонь эдакой могучей, в белой рубашке, в плисовых штанах, а - босый, без шапки, на длинных волосьях - ремешок. Это он - свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу - подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошел: «Что это ты, молодец, не путем ходишь?». А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот - Варя. Помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим!». Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подает, а у самой - слезы на глазах. «Ах, вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты березу ломишь?».

Молчание.

Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то еще не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, - гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду, только ты помоги нам! Это я - чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: хоть камнем, говорит, бей, а - помоги, всё равно я-де не отступлюсь! Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатила, - ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув:

Ты этого еще не можешь понять, что значит - жениться и что - венчаться. Только это - страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно, - запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, восторженувшись, снова начала:

Ну, как же тут быть? Я Максима - по лбу, я Варвару - за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!». И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться - после!». Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» - «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». - «Что же это у тебя - трешница была?» - «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи - дешевы, гляжу я на них, на мать твою с отцом - экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидели, его можно продать!». Ну, совсем еще дети! Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама - реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе - жутко. Ну, наладились! ... Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим - поехали! Иду я домой во слезах - вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!». А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!». - «Ты, говорит, обещай!». - «Как это - обещать, а где я их после-то возьму?». - «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?». Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе! Он - вперед меня забежал на двор и - поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, - шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнем охвачен, вызвал Якова с Михайлой, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера. Вижу я - кистень он взял, гирию на ремешке, а Михайло - ружье схватил. Лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас - легкие, - ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, - добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви - Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те, Господи!

Она молчит, улыбается.

Пошли было наши-то боем на Максима, ну - он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковом да мастером этим - забоялись его. Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть, хошь - живи, хошь - с голоду издохни». Воротился он - давай меня бить, давай ругать, я только побряхтываю да помалкиваю: всё пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!». Я одно свое думаю: ври больше, рыжий, - злоба - что лед, до тепла живет!

Рассказывая, она всё время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшно, то качается сильнее, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Такая слепая, всё примиряющая доброта.

Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонка бойкенький, сказал. Подождала я субботы, да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно. А они - ничего, ровно бы котятка, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатаסקала тихонько у деда - ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берет ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?». И Варвара поет под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..». Я их пожурила: «Дурачишко, - говорю, - я тебе - кто? Я тебе - богоданная мать, а тебе, дурехе, - кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают - в небесах мать Божия горько плачет!». Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да еще приплясывает, - силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство рассказывает, будто всамделишняя баба - уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог - дресвой рассыпается! Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко всё молчит, - упрям, домовый! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в доме запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое - отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час - ночь, вьюга воеет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой - не спится, я и скажи: «Плохо бедному в этакую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно!». Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?». - «Ничего, мол, хорошо живут». - «Я, говорит, про кого это спросил?». - «Про дочь Варвару, про зятя Максима». - «А как ты догадалась, что про них?». - «Полно-ко, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну - кому от нее весело?». Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!». Потом - выпрашивает: что, дескать, дурак этот большой, - это про отца твоего, - верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее

сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел - не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?». Тут он - ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?». Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошел бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...». Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?». Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал. Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушка - а дед ему по плечо, - встал и говорит: «Не думай, Бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое, нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах, ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!». Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб - никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом - нет, он всё свое! Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови - темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня. А я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развеселая была озорница - бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солены уши?». И возмемся, играем трое. Ой, хорошо жили мы, голубá душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие - у слепых перенял, а слепые - лучше нет певцов! Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень - отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать - замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребенка родить! Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!». А дядя твои не любили его, - вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, - горько они ему отрыгнулись! Как-то, о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно - все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегают, кричат: «Молебен надо отслужить!». И вдруг всё прекратилось. Еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался, - это, говорит, наверное, Максимом сделано! После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, - ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!». *(Смеется)*. Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля. То собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь - волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза - хорошо выходило! Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг - бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено - ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет - волк, волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнем, - глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он - хоть бы что! Пригляделись - одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно - горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову - нос, глаза, рот сделает, пакли налепит заместо волос, а потом идут с Яковым по улице и рожи эти страшные в окна суют - люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам - в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их. Уж и я говорила - бросьте, и Варя тоже, - нет, не унимаются! Смеется Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!». Поди, поговори с ним... И отдалось всё

это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку - обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один - его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили, да и столкнули его в прорубь, - я тебе рассказывала это...

АЛЁША. Отчего дядья злые?

БАБУШКА. Они - не злые. Они просто - глупые! Мишка-то хитер, да глуп, а Яков - так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его - был он трезвый, а они - пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посереде проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли - дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию - полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

Упокой, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, сто́ит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то: «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрел на пруд да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!». Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и еще двое. А Яшка-то с Мишкой еще не успели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает - поседели височки-то! Варвара - криком кричит: «Что с тобой сделали?». Квартальный принюхивается ко всем, выпрашивает, а мое сердце чует - ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку - что сделалось? «Встречайте, - шепчет он, - Якова с Михайлой первая, научите их - говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Прядильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции!». Я - к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!». Врет всё, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам. Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю, это всё Михайло, он старшой!». Успокоили мы квартального кое-как - хороший он был господин! «Ох, - говорит, - смотрите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина!». С тем и ушел. А дед подошел к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоём месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!». Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости стал на замок сердце-то запира́ть. Остались мы втроем, заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама - за что?». Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребенка. - За что? - спрашивает. Я - реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрепана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!». Я уж на нее цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!». Тут дедушко дураков этих прислал прощения просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке - вот те и прощение! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?». Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города - скушноовато здесь!». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым парходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня - ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и - всё...

Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:

Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души - одной... Ах, дедушко, дедушко, малая ты пылинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это! - разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темнея.

АЛЁША. Ты о чем думаешь?

БАБУШКА. А вот, думаю, что тебе рассказать?

АЛЁША. Ну, про Евстигнея - ладно?

БАБУШКА. Вот значит, слушай. *(Поёт).*

Жил-был дьяк Евстигней,
Думал он - нет его умней,
Ни в попах, ни в боярах,
Ни во псах, самых старых!

Ходит он кичливо, как пырин,
А считает себя птицей Сирин,
Учит соседей, соседок,
Всё ему не так, да не эдак.

Взглянет на церковь - низка!

Покосится на улицу - узка!

Яблоко ему - не румяно!

Солнышко взошло - рано!

На что ни укажут Евстигнею,
А он: - Я-ста сам эдак-то умею,
Я-ста сделал бы и лучше вещь эту,
Да всё время у меня нету.

Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает:

И пришли ко дьяку в ночу беси:

- Тебе, дьяк, не угодно здесья?

Так пойдём-ко ты с нами во ад,

Хорошо там уголья горят!

Не поспел умный дьяк надеть шапки,

Подхватили его беси в свои лапки,

Тащат, щекотят, воют,

На плечи сели ему двое,

Сунули его в адское пламя:

- Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами?

Жарится дьяк, озирается,

Руками в бока подпирается,

Губы у него спесиво надуты,

- А - угарно, говорит, у вас в аду-то!

Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменив лицо, смеется тихонько, поясняя Алеше:

Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш! Ну-ко, спи, пора...

АЛЁША. Баба, ты отца ночью во сне видишь. Баба, а отчего беспокоится отцова душа?

БАБУШКА. А как это знать? Это дело Божие, небесное, нам неведомое...

... Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал

какие-то печальные истории, - главное место в них занимал отец, он всегда шел куда-то, один, с палкой в руке, и - мохнатая собака сзади его...

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки, - я это знал, - но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Бабушка встает у окошка. Крестится.

Здравствуй, мир честной, во веки веков! Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться. А коли вошь подкожная, - берите гусяного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, - ртуть пропадет. Меди, серебра не допускайте, - вредно! А вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите, - не умею я ответить вам. Огурец сам скажет, когда его солить пора. Ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился. Квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще - кавказский...

АЛЁША. А Цыганок был - подкидыш?

БАБУШКА. Ну да. Утром нашли у ворот. Лежит, в запон обернут, еле попискивает, закоченел уж. Царство небесное, хороший был мужичок ...

АЛЁША. А зачем подкидывают детей?

БАБУШКА. Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то. Бедность всё, Олеша, такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, - стыдно-де!

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

Очень я обрадовалась Иванке, - уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и жил, хорош. Я его вначале Жуком звала, - он, бывало, ужжал особенно, - совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Любила его - он простая душа!

Сидя на краю постели в одной рубахе, огромная и лохматая, она похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик.

Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено. Кабы все жили, - целая улица народу, восемнадцать-то домов! Вот, Господь как сделал: получше себе взял, похуже мне оставил! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила. Да вот полюбил Господь кровь мою, всё брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно! Ангелы мои ...

АЛЁША. Ангелы?

БАБУШКА. Спи. Спи давай ... Ангелы.

Темнота

Занавес

Конец

23 июля 2019 года, город Екатеринбург